



## БУДИЛЬНИК

Снег шершавый, рассыпается, продергиваешь лыжи, будто по сухому песку.

Таежные поляны, прогалины, как страницы рукописей-черновиков, несчетно раз перечеркнутые, испещренные поправками, вставками. Пойми без автора, что к чему. А как быть, если авторы — лисы, зайцы, вдобавок рябчики, у ручья норка, в ельнике куница? За недели стужи скопилось следов. Посмотришь, прикинешь, безмолвно взывают они: «Спасите-е... Мерзнем!»

Седая в инее хвоя, синие суметы.

Волокусь, спина мокрая. Ресницы слипаются, на бровях ледышки.

Наконец, тракторая дорога и дровяная делянка.

Сколько берез свалили и вывезли, — в десятеро больше молодняка, елового подроста помято гусеницами.

Очищают от снега пенек. Устал. Чаю напьюсь: в термосе еще булькает.

Просвистел в стороне крыльями глухарь. По-видимому, на ночлег. Зароется где-нибудь в сугроб, и горя ему мало.

Смеркается. Небо поднялось и как бы раздвинулось. Снег светлеет. Скоро проблеснут вечерние звезды.

Возник в стилой глухомани синичий перезвон. Гайки, кто кроме них, так пищит: «Че-е... че! Та, та-а!»

Дружно, шустро пичуги обыскивают хвою. Перья с холоду взъерошены, и сдается, что работницы в потертых ватных телогрейках.

Чумазые, серенькие, шмыгнули, торопясь к соседней елке.

— Та-а... та! — на лету трезвонят.

— Че-е... че-е! — пищат.

До потемок им летать, спозаранок утром за дела приниматься. Себя кормить и лес охранять. Больше не-

кому. Больше у леса заступников вроде и нет, когда стужа нависла, иней мохнат, сини суметы.

В стае до дюжины острых, как иголка, клювов, голосистых горлышек. Перепархивают по нижним сучьям, галдеж и суетня. Елка — дородная толстуха, хвоя, что шуба. Боярыня! Похоже, гайки за подол теребят, требуют внимания. Боярыня чванится: урон чести — замечать мелюзгу. Шуба темная, точно на седых соболях. Шуба — это тебе не ватники простеckие.

Стоп-стоп, елка ведь с изъязном, в стволе зияет пролом. Дыра будь здоров, кулаком залезешь.

Вертелись гайки возле дупла, пищали, кто кого громче, и наружу показалась круглая рыжая морда, нос крючком. Спросонок сова шурилась, недовольно гримасничала. Дескать, будят тут всякие средь бела дня! Синичий галдеж достиг предела. День? Протри зенки, эво, звезды над лесом, небось путевые совы давно на охоте!

Лупила сова желтые глазищи, собиралась с духом. Ну их, уши заложило от визга! Выбросилась из дупла, низко заюлила между деревьями. Как же, подремлешь, если трезвонит будильник вроде этой отчаянной оравушки!

Сова — в поиск, мышей ловить; синицы — на теплое место в дупло. У гаек все-таки дневная смена, у совы — ночная. Возможно, не впервые в дупле пересменка. Третью неделю стужа — все может быть.

Лес, он разнолик. Один — в мягкую погоду, другой — в лютые холода. Он понуждает приспособливаться к бесконечной своей изменчивости, чтобы глухарь коротал ночи в снегу, лисы, зайцы на бегу грелись и множили многоследицу; чтобы синицы-гайки искали приюта в дуплах, неважно, что те заняты.

Вся природа такова. Вечно в переменах.

А мы? Поспеваем мы за переменами?

Хлам, древесный лом на делянке. Ради полена в печи смят, искромсан хвойный подрост...

Встаю с пня, расправляю на плечах лямки рюкзака. Смигивают звезды. Бледная, разгорается луна, словно лампа, у которой вывертывают фитиль.

## ПОДСКАЗКА

Крыши в метельных оплывах. Светлейшие с мягкой просинью дали. Алое, будто малиновым соком пропитанное солнце. Зеленью льдистой отливают небо и звенит,

звенит неслышно, порождая тайную музыку, какая единственно и способна выразить лиловую прозрачность ольховых перелесков, нежную печаль заснеженных полей...

Решено: позавтракаю — и на лыжи. Набржусь до усталы, надышусь тайгою всласть.

Дверь избы пела. Дров принес — вечером печь топить. Сбегал на ручей с ведрами. Лыжи выставил.

То и дело выскакиваю на крыльцо. Не терпится еще и еще убедиться, как сегодня пригоже и тихо.

Что я, вороны вон с радости, что утро погоже, затеяли хоровод, кружат над лугом. Правда, покаркают они, побалаганят, а потом возьмут и унижут березы. Куда резвость подевалась — сидят, хохлятся, черные, как пиковые дамы.

М-м, грусть наводят эти дамы, когда чернеют на нижних сучьях белых берез!

В палисадник к калине нагрянули снегири. Ягоды бы им клевать, снегири — давай петь-свистеть, клювами скрипеть...

Убрал я лыжи назад. Повздыхал и сел за рабочий стол. Ворон — пиковых дам, может, послушался бы, но перед пеньем снегирей нельзя не уступить, себе обойдется дороже.

Неприметно осмерклись окна избы. Потек с крыши снег: сперва бегучей струйкой, затем летучими потоками. Разыгрывалась слепая метель.

Ладно, что в лес не ушел, остался в тепле по подсказке снегирей.

Знаю, вороны кружат — к снегу, на нижние сучья садятся — к ветру.

В палисаднике снегири поют, то сулятся вьюжная непогодь.

Чего уж, лесная у нас деревня. С кем поведешься, от того и наберешься!

## МАСЛЕНИЦА

Снег отмяк, не дает скольжения лыжам. Зато день солнечный, и следов, следов — разбегаются глаза. Между стогами прошлась лисица, в ивовых кустах кормился заяц, и горностаи, ласки повсюду набросали отпечатки неутомимых лапок. Следы мне дороги, как письма со знакомым почерком, с вестью-утехой — зима на исходе!

А что там, на береговом откосе? Какая-то канава, словно бревно протащили. Прямо к полынье, к омуту.

Промоин на реке — синеют и чернеют, отмечая выходы подземных ключей. Канава между тем, одна. Канава и неразборчивые следы.

Омут помню с лета. Чудо, хорош он был, повитый прозрачным туманом. Темная глубь мерцала завораживающе, мята напускала душистый, чуть ощутимый холодок, в беспорядке теснились листья лилий. Между берегами плавал выводок утят под надзором толстой крякуши, и легкая рябь на осколки дробила тускнеющий отсвет утренних звезд.

Прибавляю шаг. Лыжи вязнут — торопись не торопись, не убежишь.

Достал бинокль. Окуляры отпотевали, все же удалось разобрать: бобер, ну да, бобер набродил на снегу.

Здесь, в туннеле ивовых кустов, смородины, черемух, в реку впадает каменистый ручей. Помнится, летом чутко настораживалась крякуша, одергивала утят, чтобы держались от устья подальше. Мне даже почудилось в кустах движение, шорохи. Понятно теперь, что в материнском страхе пугалась утка безобидных бобров, а бобры в свою очередь не решались показаться в открытую на реке, возможно, чуя присутствие человека.

Следы свежие. В примятые хвостом отпечатки перепончатых лап натекла водица, словно чтобы выделить их отчетливее.

Подхожу ближе. Лед тонок, не проломился бы. Глубина как-никак порядочная.

Нашелся удобный подъем, я взобрался на берег.

Нет запруды, нет хаток. Очевидно, бобры живут в норах. Бобры или бобер-одиночка — не знаю, не определить. Но выходил именно один. Через лаз в сугробе.

Опостылела моченая кора, запасы с осени, и бобер грыз вершинные прутья ив. В оттепельный канун весны не терпится бобрам, на часок да покидают норы, зимние убежища. Кора-свежинка их манит.

Бродил бобр, волочил хвост-весло: прутик откусит и примется за другой — не аппетитней ли он, не слаще ли и сочнее?

Утоптано вдоль берега, намусорено огрызками.

Попирав на славу, захотел бобр повеселиться. Катался с кручи в свое удовольствие. На животе, под-

жав лапы,— и вниз-вниз по спуску, и с лету — бух в полынью!

Горка, на снегу объедки. Добро бобер справил масленицу — проводы зимы!

## РОДНЯ

Ольхи прощипывали клейкий лист. Желто пушились ивы, завлекая на золото пыльцы, на мед басовитых шмелей, пчел с окрестных пасек. Ветер шелестел прошлогодней, высохшей в солому травой: ш-ш, нельзя ли потише? Птиц не даете послушать... Ш-ш!

Родственны они: свежая зелень, плеск крыльев, птичий гам, гуденье пчел — и, породнившись между собой, принимают в родню ручей, бурлящий на развалинах мельницы, черемуху, готовую хоть завтра обвеситься душистым кружевом, и лазурь неба, и гнезда среди хвои, сучьев...

Всех и вея — кроме меня! Не обижаюсь. Не до огорчений. Преследует неотступно прежняя дума: как стать близким, своим живому этому миру, который весь открыт для тебя, тебе служит, ничего не требуя взамен, и которому на поверку ты же и оказываешься чужим. Что мы им — на ветви зяблику, лисе у норы, на иве бабочке? Лишние хлопоты, больше ничего!

Проста моя вера. Когда говорят о долге беречь окружающую среду, убежден, что в конечном итоге суть не в том, чтобы, допустим, сохранить на будущие времена красоты того или иного ландшафта, богатства заповедного урочища, редкое растение, исчезающий вид животных, — что, несомненно, само по себе необходимо и важно. Принимая меры к охране природы, мы заботимся о себе. Мне, мне и тебе нужны в небе облака, в реке вода, на полянах травы. Для нас зеленью одеваются деревья, ветер веет с высоты... Так, только так, а не иначе!

Поймите: ничего нет дороже на свете того, что ничего нам не стоит. Как воздух. Как вон тот перелесок, проезжими облюбованный для стоянок и привалов.

Сюда я прихожу убедиться, хорошо ли птицами укрыты гнезда. Шоссе рядом, подъезд удобный, и перебывает же тут народу за лето!

Мусор из кузова выгружен в кусты.

Масло слито из мотора.

Горой валяются изношенные автопокрышки.

Зола кострищ. Битые бутылки, ржавые жестянки.

И гнезда, птичьи гнезда...

С места не сходя, приглядываюсь к ближнему.

Фундамент каменный, стены крепки что надо, сверху кровля из прутьев. Хоромы! Нравятся мне хоромы, за них совершенно спокоен. Они ж не жилые, вот в чем дело.

Сорочья хитрость. У белобокой повадка — лепить фальшивки для отвода чужих глаз. Было бы подлинное гнездо, сквозь сучья наружу высывался бы длинющий хвост наседки.

Безопасность птенцов на первом месте, и под валежиной угнездится зорянка; дупло примет горластое семейство дятла; иволга высоко-высоко повесит гамак, поручив его завесе листвы.

Дупла — не достучись, гамаки — не доступись, подделки, выставленные напоказ, и под валежинами тайники... Добро и ладно!

О зябликах печалюсь, пусть устроились они понадежнее кого иного.

У сороки при возведении крытых хором в дело идут прутья, сырая, на ветру отвердевающая в камень глина. С ломом не проломиться к дятлу. Ну а зяблики обходятся прядями мха, пухом, перьями, нежными волоконцами былинки.

Гнездо в черемухе. Взгляду не за что зацепиться, до того оно искусно облицовано серым лишайником. Удивляюсь, как хозяева, неразлучная пара, сами находят собственную постройку. Ручаюсь, нипочем ее посторонним не обнаружить.

Все равно разбирает тревога. Лет пятнадцать назад вот было зябликов: город — поют от зари до зари из скверов, на улицах с тополей; деревня — их в лесу и слышно.

Заурядная, считалась, птичка. Не обращал, бывало, внимания, тогда как всем взял зяблик: нарядом цветным, нравом жизнерадостным, доверчивостью к людям, гнездами — пуховыми плетенками, голосом звонким. Серебряное, право, горлышко. Бывало, как раскатится у нас под окном, бодро, с таким звенящим росчерком — свободно перекроет шум уличной сутолоки, шуршание машин по асфальту.

Что имеем, не храним. Переводится зяблик. Чей следующий черед?

В перелесок углубляться воздержусь. Дальше — коло-

ния дроздов. Рябинников и белобровиков. Свитые из прошлогодней травы гнезда напоминают соломенные хатки и с простодушной, какой-то деревенской доверчивостью поналеплены где придется: у подножий ольхи на земле и в вершинных сучьях, на пнях и в гуще елового лапника.

Бывало, попадались соломенные хатки и в городе, перекликались песнями на зорях парки, скверы, под перезвон курантов старинной колокольни певчий дрозд выводил, выговаривал:

— Филипп... Фи-липп... Прийди, прийди! Чай-пьем, чай-пьем... Вы-ы-пьем! С сахаром, с сахаром!

Не хочу беспокоить хозяев ольшаника, пересеку его по дороге. Птицы у себя дома. Пока мы рассуждаем, они дело делают и незаменимы в нем. Обирают с деревьев гусениц — как иволги; склеивают семена сорняков — как зяблики; слизней, червяков из прелой листвы выуживают — как дрозды. Работают, несут охрану лесов и полей, лугового разнотравья, и не стоит им мешать, коль не научились помогать. Не надо, не стоит.

Дорога когда-то была дорога — волок тележный. Разрослись кусты. Колея замшела, чуть выделяется из травы, пропадая в низинах напрочь.

Дрозд — желтый клюв, грудь в рыжих веснушках — вырвался из-под самых ног. Чуть на него не наступил! Вернее — на гнездо, хатку соломенную.

Разве не разиня? На дороге, ну-ка, в колее поселился!

Хатка на соломе хранит одно яйцо. Первое, очевидно. Скорлупа оливково-зеленая, бурые крапины.

Я протянул руку — прикоснуться, на ладони подержать...

Батюшки, что поднялось-то! В мгновение ока не со всего ли перелеска слетелись дрозды. Трещат взапуски. Поочередно пикируют, целя клювами мне в голову. На кепку — кап-кап, на куртку — кап-кап. Пометом поливают и норовят по глазам, все по глазам.

Пришлось удирать. Боком я от трещоток несносных, сперва боком и шажками, потом под гору бегом.

Где бы умыться, не подскажете?

Но все-таки здорово дрозды устроились, нечего сказать. Лучше всех!

Сорока подставляет фальшивые гнезда, зяблик маскирует пуховую колыбельку... Дрозд-рябинник на виду, куда попало сажит соломенные хатки, и тронь его, попробуй, если кругом свои! Собратья, по жилью соседи, на них

надежда крепче камня. В минуту опасности не оставят, ринутся на защиту.

Лопались почки, черемуха, купаясь в солнечном тепле, готовилась примерить белую фату, и пахло зеленью, опять заливались дрозды, и родственны они были — рокот ручья, шмель на золотистой пуховке вербы, белые облака и веснучатое яйцо, первое в соломенной хатке.

## ЧЕРТЯТА С БОЛОТА

Белая ночь. Есть в ней что-то завораживающее, колдовское. Томит жидкий испитой свет, напускает мороку, и откроется за поворотом тропы избушка на курьих ножках — не удивлюсь; проснутся детские страхи перед одиночеством, перед лесной темной безбрежностью — даже обрадуюсь.

Никого, ничего. Мозолят глаза все те же серые стволы, замшелый колодник, уродливые пни, голые от того, что дятлы спустили с них кору...

Зачем я погнал на станцию на ночь глядя? Легче шагать по прохладе, и весь резон. Днем-то зной да оводы.

Зато днем веселей! Не тропу торюшь полузабытую — собираешь разные разности, что увидишь, что встретится. В прошлогоднем гнезде дрозда на сосне поселился куличок. Ну надо же, на землю ему места не нашлось! Гнездо ветхое, с бородой. Ага, пряди сухой, выбеленной дождями травы свисают клочьями, треплет их, раздувает ветер. Беру... Беру эту бороду, как с сосенки подать! В грязи кабаны купались... Беру с собой лужицу! Среди молодых осин лосиха с лосенком паслась, сохатые брусники листья, вершинник заламывали. Как они пустились бежать — хворост трещал, кусты качались! Беру... Беру на память сломленную ветку, мельканье копыт остроносых, точно модные туфли.

За внимание к нему платит лес подробностями жизни своей потаенной. Берешь поборы, сколько можешь, черпаешь — и не убывает. Напротив, ты теперь богаче, но лес — во сто крат.

Иное дело ночью. Гнетет тишь застойная, пустота хвойных этажей.

Сняв рюкзак, пристраиваюсь на валежину. Сколько отмахал, идя с озера, неизвестно: расстояния в тайге не мерены. Ноги просят отдыха.

Прогалина впереди подтоплена туманом, сосенки сизы от росы.

Скучно, даже как-то не по себе.

Сидел я, прислонясь спиной к пню, и забылся нечаянно, сморила усталость.

Очнулся — всю светло, вопреки туману, который надвигаясь с болота, погустел и уплотнился. Очевидно, встает солнце.

Издали донесся гудок. До железной дороги еще топать и топать.

Вдруг на прогалине обозначилось движение непонятных, искаженных туманом фигур. Господи, черти...

Ей-ей, черти, разрази меня гром! Балда ли вас, рогатые, сюда вызвал — оброк ему платить? Не похоже, больно вы беспечны и веселы.

Э, на кулачках бьются мои бесенята! Подскочит один к другому, и бац-бац — боксом, боксом! Нарочно разбились на пары. Их две или три, из-за тумана не разберешь.

Чертям положены длинные хвосты, а у моих — куцые, такой, знаете ли, пуховкой. Копыт помина нет.

Потому что чертята из болота — зайцы. Прыгают на задних лапках между сосен, как по рингу. Уши торчат рожками.

Смотреть, что косые выделывают, — умора. Ничего подобного не видел и вообразить не мог, что на такое зайчишки способны.

Прыгают сломя голову, потом вскинулся на дыбки и вот передними лапками тычут, вот тычут...

Ну, братцы-ушастики, спасибо. Беру ваше веселье, на задних лапах прыжки за оброк, дорогую подать с утреннего леса!

## ЛАГЕРНИЦА

Такое утро, возможно, не повторится за целую осень: чтобы воздух, то чистота и прозрачность поистине родниковые: чтобы озими в росе блистали, роща берез на взгорке светилась солнцу под стать; чтобы небо голубело бездонно и ало пылали рябины вдоль проселка!

Шофер, сдается, далек от этой благодати. Знай, подбавляет газу. Тарахтят в кузове бидоны.

Когда в рывках подкидывало и я с головой взлетал к потолку кабины, дядя Костя усмешливо морщил нос: — Говорено вам: тело довезу, за душу не ручаюсь. Умелец, уж точно, душу мне повытрясет на ухабах... Тем неожиданнее был визг тормозов. Грузовик замер, отфыркиваясь, словно загнанная лошадь.

Дядя Костя достал из-под сиденья бумажный сверток и выпрыгнул из кабины.

Лужайка. Под березами пенек. На нем шофер разложил ломти хлеба, кусочки сахара и плавленый сыр без обертки. Поспешно вернулся в кабину и резко, отрывисто посигналил:

— Рефлекс по академику Павлову!

Нос на этот раз он сморщил что-то мрачновато, рывком, в сердцах выжал сцепление и погнал грузовик пуше прежнего.

— Что? Что вы сказали? — нашелся я наконец. — Рефлексы? Академик Павлов в березовой роще? Ну, вы даете!

— Угу, — пробурчал дядя Костя. — Даем. Мы всю дорогу даем.

Проселок делал крюк в объезд сырой топкой мочажины, затем запетлял вверх, в гору. Скоро мы вновь очутились напротив рощи. Сухо, гладко, колеи незаметно, между тем дядя Костя скинул скорость и все поглядывал в сторону берез.

— Вышла, — вздохнул он с непонятным мне облегчением. — Жива, значит, лагерница.

— Кто? — переспросил я. — Что вы сказали?

— Что слышали: лагерница. Во... вон она!

Я всмотрелся и хмыкнул. У пенька на задних лапах стояла лисица и за обе щеки уминала шоферское угощение. Рыжая-рыжая, пушистый огонек. На груди белое пятно — вроде бы салфетку лисонька повязала перед тем, как подкрепиться.

Вот это рефлексы!

Грузовик полз еле-еле, дядя Костя мрачнее тучи косил глазами на удивительную сценку под березами. Вдруг машина рывком дернула вперед и помчалась с облаком пыли...

— Места у нас — прямо-таки Третьяковская галерея, — в конце концов снизошел дядя Костя до объяснения. — Угу, пейзажи. Лагерьей летом бывает — сплошь горы и барабаны. Само собой, и у нас в деревеньке лагерь. Начальница, скажу вам, фельдмаршал в белом

халате. Порядок, дисциплина. М-м, все перед ней по струнке! Дети чистенькие, ухоженные. Любит их начальница. Младшенький отряд — «колокольчики», старший — «незабудки». Все путем, раз дети — цветы жизни! А природе обожает начальница... Что вы! По один год никакой живности не заимели, начисто извелась. Почему отстаем? У соседей справа — медвежонок, слева — лосенок. Чем мы хуже? Сей год повезло, ребяташки поймали в лесу лисенка. Ясно, в клетку малыша — и кормить его, и холить. Сердце у начальницы на месте: как же ж — под ее руководством воспитывается любовь к природе. На прощание, как лагерю закрываться, начальница лично обошла местных охотников, дескать, в нашу лису не стреляйте, она ручная, на шее голубой бантик. Ну, выпустили. Дети плачут, начальница умиляется. Да лисенок не то что ручной — он безногий. Сидя в тесноте, бегать, почитай, разучился. Конечно, уковылял кое-как. Вот довольствуем беднягу. Этой лагернице, поди, мышонка не поймать. Ничего не умеет, возросши в клетке на конфетках...

Ревел моторами грузовик, громыхали в кузове бидоны. Сияло вокруг ясное утро, такое радостное, погожее, что второму подобному впереди не бывать.